

Споры об истоках отечественного конституционализма и парламентаризма и о природе политической системы, сложившейся в результате реализации начал Манифеста 17 октября 1905 г., приобрели в современной историографии весьма оживлённый характер. Исследователи пишут вслед за М. Вебером<sup>2</sup> про «мнимый конституционализм», о «дуалистической монархии» или о некоем межумочном этапе на пути к утверждению конституционных порядков и норм (на чём настаивал в своё время кадет В.А. Маклаков). Как компромиссный вариант используется дефиниция «думская монархия» с размытым пониманием её внутреннего содержания.

Что же касается государственного строя, существовавшего в Российской империи до 1906 г., то ещё сохраняется тенденция характеризовать его тривиальным термином «самодержавие» в якобы неизменном, устоявшемся и «проверенном» веками понимании. Труд К.А. Соловьёва даёт уникальную возможность «окунуться» в глубины повседневного существования и жизнедеятельности политического организма России, пережившего за четверть столетия два одинаково сокрушительных, хотя и разнородных, потрясения: 1 марта 1881 г. и 17 октября 1905 г. Монография раскрывает обстановку, возникшую между этими судьбоносными испытаниями царского режима на жизнеспособность, прочность и выживаемость.

При этом сам автор отмечает: «Разговор о поздней Российской империи обычно сводится к вопросу: почему она пала в 1917 г.? Вопрос можно поставить по-иному: почему столь сложно организованное, внутренне противоречивое образование так долго существовало и даже динамично развивалось на протяжении XIX — начала XX в.» (с. 339).

Размышляя об этом, Соловьёв делит свою монографию на три главы: «Понятия», «Институты», «Практики». Их стройная и логически выверенная последовательность позволяет поэтапно анализировать несущие конструкции империи, которая объективно созрела (и перезрела) для серьёзного и неотложного реформирования, но слишком долго и непоследовательно осознала это. Так долго, что практически силой вырванный у царя 17 октября 1905 г. манифест застал её властную верхушку в состоянии разброда.

Три кита, на которых держалась (но уже не покоилась) имперская власть, — самодержавие, закон, реформы (нацеленные в их консервативном варианте на сохранение существующего порядка) — рассматриваются в книге в «режиме историзма». В соответствии с ним «любой важный термин, любой характерный оборот становятся подлинными элементами нашего познания лишь тогда, — как подчёркивал в своё время М. Блок, — когда они сопоставлены с их окружением, снова помещены в обиход своей эпохи, среды или автора, а главное, ограждены — если они долго просуществовали — от всегда имеющейся опасности неправильного, анахронистического истолкования»<sup>3</sup>. Такой подход позволяет автору показать, как время безжалостно подтачивало эти три фунда-

<sup>2</sup> Вебер М. О буржуазной демократии в России // Антология мировой политической мысли. В 5 т. Т. II. М., 1997. С. 39—40.

<sup>3</sup> Блок М. Апология истории, или Ремесло историка. М., 1973. С. 91.

ментальные опоры, некогда служившие гарантами незыблемости империи, но теперь превращавшиеся в средства её разрушения.

Широко признанная в обществе славянофильская версия самодержавия, вступающая в конфликт с политической практикой, парадоксальным образом видоизменялась: её истинные ревнители были не в силах примирить свой идеал с реальностью и невольно пополняли ряды либеральной оппозиции (с. 20—45).

Глубокое разочарование вызвало у подданных и то, что правительство, разрабатывая и издавая новые законы, не всегда могло просчитать, как они будут работать, и не раз искренне удивлялось результатам (часто печальным) осуществления своих благих намерений. Проводившиеся в узкоклановых интересах преобразования и разнородные попытки «улучшить» систему, ничего не меняя, только усугубляли её главный порок, заключавшийся в том, что правящая верхушка «продолжала видеть своих подданных на весьма значительном расстоянии». Но это лишь усиливало их убеждённость в том, что в тогдашней России по определению не может быть власти, «внушающей доверие обществу» (с. 337).

Тщательному анализу подвергается в книге эволюция государственных институтов империи (царь, Государственный совет и его канцелярия, Правительствующий Сенат, Комитет министров, министерства, разного рода комиссии и комитеты), которые создавали своей порой бурной, но не согласованной деятельностью режим «централизованной анархии». При этом «буксовала» любая система «сдержек и противовесов». Так, Государственный совет как высший законосовещательный орган, призванный, в частности, «сдерживать своеволие министров, готовых подменить самодержавие собственным произволом» (с. 137), не мог эффективно выполнять свою роль, не обладая даже правом законодательной инициативы. Нередко важнейшие решения (как, например, финансовая реформа С.Ю. Витте) обходились без его участия. Существование Комитета министров, являвшегося чисто декоративным учреждением, лишь оттеняло факт отсутствия правительства как некоего целого, способного координировать действия отдельных министров, каждый из которых «вёл свою игру» (с. 180). В этих условиях межведомственные трения играли скорее положительную, чем отрицательную роль (с. 232).

Проблема бюрократии и бюрократизма, неизбывная для российской государственности, в конце XIX — начале XX в. приобрела свои специфические черты. Управленческая корпорация оставалась «главным героем на политической сцене Российской империи» (с. 105), а сами чиновники — реальными творцами, «демиургами» её законодательства. Вместе с тем «имевшие место бюрократические “игры” в большей степени напоминали неупорядоченное броуновское движение, когда у каждого из участников законотворческого процесса была своя цель, а у системы в целом — нет: она находилась в статическом положении» (с. 244).

Бюрократия, конечно же, самосовершенствовалась. Государственные структуры, испытывавшие дефицит способных администраторов, немало сделали для пополнения их числа. Однако «актёры в труппу набирались новые, может быть, лучше прежних, а сцена практически не менялась» (с. 121—122). Истинные же настроения «новобранцев» проявились лишь после 17 октября 1905 г. Многие чиновники перестали тогда стыдиться своих конституционных взглядов и даже поддерживали требование всеобщего избирательного права (с. 133—134).

Каковы же были итоги эволюции политической системы империи в исследуемый автором период? С чем она подошла к событиям Первой русской революции, заставившей царизм заметно изменить своё обличье? Видя в славянофильской концепции самодержавия миф, Соловьёв полагает, что «можно говорить о “мнимом авторитаризме”, имевшем место в России до 1905—1906 гг.» (с. 342). Таким образом, от «мнимого авторитаризма» страна перешла на новом этапе к «мнимому конституционализму». Если это так, то именно «мнимость» — верный признак потери политическим строем страны своих ориентиров — можно считать главной приметой исследуемой эпохи. Под прессом модернизации, подспудного становления новых — буржуазных — отношений царизм терял свою «самость», становясь всё более чужеродным телом в организме российского социума.

Успешному проникновению автора в суть изучаемых событий, во всём «многоцветье» их проявлений, способствует широта и надёжность источниковой базы, на которую он опирается. Тут и впервые вводимые в научный оборот архивные материалы РГИА и ГА РФ, хорошо известные и, наоборот, редко используемые дневники, воспоминания и письма десятков непосредственных участников описываемых событий. Как известно, свидетельства современников — сложный, до предела субъективный источник. Но при профессиональной его критике, демонстрируемой автором, он отражает «человеческое измерение» жизнедеятельности политической системы империи: «мир фактов» выступает в противоречивом единстве с «миром мнений», настроений, эмоций, открывая историкам поле для дискуссий.

Опираясь, видимо, прежде всего на суждения приближённых к трону особ, Соловьёв заключает: «Цари чувствовали, что самодержавная власть неизменно выскальзывала из рук самодержцев» (с. 99). С таким утверждением в отношении Александра III ещё можно согласиться: инициированные им контрреформы правомерно рассматривать как свидетельство обеспокоенности императора именно этим обстоятельством. Но величайшим преступлением Николая II перед собой, своей семьёй(!) и, конечно же, перед страной, о которой он думал в последнюю очередь, являлось как раз отсутствие у него — до поры до времени — такого предчувствия. Если оно и таилось в глубинах его сознания, то никак не проявлялось в политических действиях. Даже своё падение он объяснял «трусостью и изменой» всех, кого только можно. «Забыв» при этом о самом себе.

Три с половиной десятилетия отвела история для более или менее стабильной (а в ряде направлений и динамичной) эволюции страны в промежутке между гибелью царя-освободителя в 1881 г. и гибелью царизма в 1917 г. На сроки и динамику «умирания» империи решающее влияние оказывали результаты сложного взаимодействия трёх факторов: силы исторической традиции «самодержавства» (по выражению С.О. Шмидта), степени воздействия социальной инерции и, наконец, скорости разложения системы. При этом первые из них, заложенные в нашей национальной ментальности, достаточно долго сдерживали распад государственного и общественного организма. Исследованный Соловьёвым период подготовил «неуклюжее так называемое самодержавие», т.е. «централистскую полицейскую бюрократию», по оценке М. Вебера, к тому, чтобы «самой выкопать себе могилу»<sup>4</sup>. «Мнимый конституционализм», заложенный политическими и законодательными акциями 1905—1906 гг., отсрочил эту мрачную перспективу, но не смог её предотвратить.

<sup>4</sup> Вебер М. Указ. соч. С. 39.

Предметное выявление процессов, тщательно проанализированных в книге на материалах 1881—1905 гг., имеет методологическое, общесоциологическое звучание. Оно помогает глубже понять то, что произошло со страной в последнее десятилетие многотрагического XX в., а могло и не случиться, если бы власть и общество усвоили одинаково поучительные для них уроки социально-политического краха Российской империи. «Верхи» осознали бы тот непреложный факт, что нельзя «сверх меры» спекулировать на теряющей свою привлекательность традиции и излишне уповать на прочность социальной инерции, а «низы» и их радикальные лидеры помнили бы о катастрофических последствиях бездумного разрушения того, что можно было ещё преобразовать. Запоздавшее прозрение одного из последних советских лидеров, заявившего о том, что «мы не знаем общества, в котором живём», было вполне созвучно происходившему на рубеже XIX—XX вв., когда царизм также стремился «направлять» развитие народа, не желая видеть, как менялись его жизнь и социальный облик на самом деле.

Новаторская монография К.А. Соловьёва вносит существенный вклад в современную историографию истории предреволюционной и революционной России.

**Евгений Крестьянников: «Кабинетная» история и бюрократическая опасность\***  
*Evgenii Krestiannikov (Tyumen State University, Russia): «Cabinet» history and bureaucratic danger*

DOI: 10.31857/S086956870016245-0

Книга К.А. Соловьёва, главным героем которой стал высший отряд российской бюрократии, — незаурядное историографическое явление. Её автор, признавая, что о чиновничестве уже «много написано и отечественными, и зарубежными исследователями» (с. 105), отдаёт должное достижениям предшественников (с. 13—16), но предлагает взглянуть на жизнь петербургских кабинетов сквозь призму «политической повседневности» (с. 9—12). Воспоминания, дневники, эпистолярное наследие, разного рода записки — как опубликованные, так и обнаруженные в хранилищах архивов, музеев и библиотек, позволили тщательно изучить процедуры и режимы службы столичных сановников, высших учреждений и их канцелярий.

Российский истеблишмент предстаёт перед читателем в мелочах и казусах бюрократической рутины. Политика и состояние государства прослеживаются по передвижению по инстанциям «бумаг», инициированных в коридорах власти и становящихся, в случае отсутствия непреодолимых препятствий, законами, качество которых зависело как от воли высокопоставленных персон, так и от множества наглядно демонстрируемых в книге обстоятельств: волокиты текущего делопроизводства, исправности межведомственной коммуникации, степени отлаженности административных механизмов и приёмов, тонкостей управленческих традиций, умения того или иного администратора разбираться в хитросплетениях чиновничьих связей и угождать начальству, его личных интересов и пристрастий, а также многого другого.

При этом сколько-нибудь единый алгоритм принятия правовых норм отсутствовал, сохранявшаяся законодательная процедура являлась «неудовлетво-

---

\* Статья подготовлена при поддержке Тюменской обл. и РФФИ, проект № 20-49-720019.